



**Александр
Адамович**

МОЯ ВОЙНА

В партизанах



Моя война

Алесь Адамович

В партизанах

«Алисторус»

2018

УДК 323 (470+571)
ББК 66.4(2)

Адамович А. М.

В партизанах / А. М. Адамович — «Алисторус», 2018 — (Моя война)

ISBN 978-5-907028-95-1

Алесь Адамович – классик советской и белорусской литературы, чьи произведения о войне переведены на многие языки мира. Главная тема Адамовича – партизанское движение против немцев, и это не случайно: в годы войны он, подростком, помогал партизанам, а затем воевал в партизанском отряде. В своей книге Алесь Адамович рассказывает об этом, а так-же приводит документальные свидетельства о сопротивлении оккупантам и карательных акциях фашистов по отношению к населению оккупированных земель. Кроме того, он делится размышлениями о причинах начальных тяжелых поражений в войне, многомиллионных ее жертвах, о цене Победы и уроках войны для будущего.

УДК 323 (470+571)

ББК 66.4(2)

ISBN 978-5-907028-95-1

© Адамович А. М., 2018

© Алисторус, 2018

Содержание

Партизанская семья	6
Вместо предисловия	6
Детство	7
Перед войной	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Александр Адамович В партизанах

© Адамович А.М., 2018

© ООО «ТД Алгоритм», 2018

Партизанская семья

Вместо предисловия

...1943 год, предосенние дожди прибили летнюю сушь, смыли придорожную пылищу с пожухлой травы, но жара вернулась, я лежу у дороги, локтями прижав винтовку.

Со стороны Козловим ведут пленных немца и власовца (у власовца мундир желтее немецкого, наверное, из запасов венгерской или чехословацкой армии), бабы из нашей Крюковщины выбегают к дороге, встречая и провожая пленников не столько злыми, сколько горькими притчаниями: «Дзе ж твае вочы? А маці недзе свое проплакала по такому сыночку!»

Русоголовый красавец-власовец глаз не поднимает, лицо его то бледнеет, то краснеет. Немец, маленький, невзрачный, в очках, с испуганным любопытством смотрит на вооруженных людей, ужас конца, обреченности еще не овладел им. По другую сторону дороги, по которой идут они, длинный ряд холмиков-могил, четыре из них свежие, несколько дней назад мы похоронили тут своих хлопцев.

Вот-вот начнется «блокада», грозное слово это уже носится в воздухе, окружение, блокировку партизанских деревень и лесов немцы обычно приурочивают к осенней уборке урожая. (Для меня потом стертое газетное выражение «битва за урожай» всегда было наполнено жестокими воспоминаниями.)

Гляжу вслед обреченно удаляющимся нашим врагам, и вдруг подумалось: явись сейчас кто-то и предложи мне, уже прожившему шестнадцать лет: «Хочешь еще две недели? Гарантированные. Беззаботные. Как ты жил в своей четыре года назад. Ну, а потом, сам знаешь, придется заплатить, умереть».

Я не спешил соглашаться. Но и не гнал прочь этого кого-то. Подсчитывал, выгадывал. Я уже научился заглядывать в себя, юношеская рефлексия была хорошо подогрета чтением Толстого, постоянным удивлением: да, да, да, именно так. Когда у него вычитывал свое. «Так это же я, а не Николенька Иртенев внезапно оглядывался (Толстого тогда еще не было, то есть не читал), чтобы застать мир не готовым притвориться, что он есть, существует, когда я на него не смотрю!» А когда оглушила в засаде у деревни Устерхи, как колоколом (нет, колом) по башке, автоматная пулька, соскоблившая кожу и клочок волос на макушке головы (зато зимнюю шапку в клочья!), и я удивился: «Кто это меня палкой по голове?» – оказалось, что почти так же подумал и Андрей Болконский на Аустерлицком поле, когда его ранило. (Потом про это я вспомнил и снова поразился.)

Так что я уже умел в себя заглядывать, спрашивать себя и себе же отвечать. Потому-то и не прогнал прочь этого Кого-то с его, если по сегодняшним меркам, диким предложением. Но по настроению лета 1943 года таким оно не казалось: две недели – да это же целая жизнь, если уже завтра от тебя, возможно, только и останется, что холмик вон там у дороги! Покопавшись в себе, заглянув поглубже, я ответил: «Две недели – нет. Но за месяц, за четыре недели – да, согласен». И был вроде даже рад, что, поторговавшись, здорово выгадал: удвоил срок своей жизни...

Детство

Итак, о жизни. Итальянские греки-сibarиты не ради детской попки старались 2500 лет тому назад, когда изобретали ночной горшок. Это был предмет роскоши, вполне царский, королевский. Чтобы державная персона могла посидеть-подумать отрешенно, на свежую голову. Впрочем, где-то читал, что суетные, не выносящие скуки одиночества Людовики и даже Екатерина Великая допускали наиболее достойных придворных к лицезнению и сей подробности своего утреннего туалета. При этом велись куртуазные беседы.

Что ж удивительного, что маленькие граждане, когда ночной горшок сделался их привилегией, изо всех силенок стараются привлечь к себе внимание окружающих именно в такой позе, положении. Даже если убеждаются, что это связано с определенным риском.

За столом, вокруг большущей светлой лампы, гости, чужие тети и дяди кушают, беседуют, смеются. А ты должен один сидеть в темной кухне. Не для этого ты попросился на горшочек. Как бы произвольно начинаешь дрейфовать в направлении света, умело покручивая голой попкой. До цветастой ширмочки, что отделяет кухню от столовой, вполне безопасно, а дальше нужна предельная осторожность и неторопливость. Горшок под тобой не может двигаться напрямик, а сложными петлями, надо при этом и нужное направление выдержать, и не опрокинуть его со всем содержимым. А если «водителю» два-три годика и обчелся – задача эта не из легких. Главное – подрулить незаметно и как можно ближе к столу. Нет, не ради того, чтобы себя показать, а чтобы на других посмотреть, послушать живой смех, разговор...

Мамин вскрик, ужас и отчаянье в нем! Ну, можно подумать, страшный волк в комнате появился и сейчас распугает или съест всех ее гостей. Вскривает со стула, бросается к тебе, загоразивает стол. Схватив вместе с горшком тебя, уносит на кухню. В темноту, откуда ты и появился. Вас провожает неуверенный смех гостей. Папа, его голос, поясняет (не без удовольствия):

– Упрямый поросенок!

Это наша первая квартира, в которой я себя вижу, помню. Большая комната ширмой, с большими яркими цветами по всему полю, располовинена: на «столовую» и «спальню». Спальне отдана большая ласково-теплая печь. Огнедышащим зевом она выходит на кухню. На кухне хозяйничает мама, на печке – мы с братом «Зеней» (вообще-то он Женя, но «з» легче выговаривается). На печку забираемся прямо с нашей кровати.

Но, пожалуй, самое заметное в предметном мире нашего детства была Лампа – блестящий металлический шар на черной треноге, стекло с круто раздутыми щеками, удерживаемое снизу узорчатым венчиком. Как только сумерки выползают из темных углов, заполняя спальню, кухню, а затем всю квартиру, и за окнами тоже начинается темнота, зажигается, вспыхивает лампа. Фитиль в лампе не плоский, как в той жестянке, что на кухонном столе, а круглый. Вначале пламя еле держится за черную кромку фитиля, а повернут зубчатое колечко, и свет затопляет комнату – стены будто раздвинулись, потолок взлетел. Если близко присесть, ухо уловит шипение, живой шепот лампы. «Шестилинейная» – помню это загадочное слово, произносимое с уважением даже тогда, когда, она, запыленная и забытая, стояла на шкафу, а с потолка свисала помеченная мухами электрическая лампочка на жестком перекрученном проводе. Ночные мотыльки с меловыми крылышками – казалось, что все те же – вились теперь вокруг этих лампочек.

Глаза помнят отгораживающую цветастую ширму, просвеченную сиянием лампы, когда лежишь в постели, уже успокоению, вечерним барахтаньем отвоевав у старшего брата тебе принадлежащую половину кровати. Эта картинка легко и естественно переходит в ярко зеленеющий за домом лужок у толстеного дуба, с жесткими, почти без запаха желтыми лютиками,

мягоньким медовым клеверком и внезапной, как испуг, ягодкой земляники, вдруг тебя окликнувшей.

* * *

Все ранние болезни помнятся как долгое, до головокружения, всматривание в плывущие рисунки, сметающиеся контуры на прозрачном ситце, из-за которого (скорее бы!) появится мама с обеспокоенным и ласковым лицом...

Когда scarлатиной заболел, брата от меня удалили. Мне на зависть – на нашу печь, он там спал. Свешивался сверху и гримасничал. Как бы назло мне. Просто ему, нам было скучно друг без друга.

Печка – наше волшебное царство, до последнего сантиметра обжитое, обнюханное, облизанное. Да, и облизанное. Если научно объяснить, детскому организму не хватало кальция. Потому-то и смотрел на любую побеленную стенку или боковину печки как медом намазанную. А уж если свежесвебеленная!.. Несколько шагов тянул языком, мокрым от удовольствия, по пахучей стенке, известке, мелу, оставляя уличающую, даже когда высыхала, полосу. А поскольку грязный бордюрик темнел на уровне моего роста, внимательной хозяйке нетрудно было вычислить мелового наркомана. Ну, мама, ладно, она лишь сказала отцу, что надо мне аптечного мела, угля в порошках купить. Совсем другой был эффект, когда такой же бордюрик на стене и печке обнаружила в своих апартаментах «пани Потоцкая», хозяйка дома, в котором мы снимали квартиру.

Но это особая история, отдельная страница нашей жизни, о ней чуть позднее. Деталь не простых и в чем-то загадочных отношений нашей семьи с семьей Потоцких. О, если бы людям ведомо было заранее, каким ужасом могут обернуться в общем-то ничемные пустяки. Когда жизнь вдруг круто развернется. (Под старым, гнилым пнем может прятаться вон что: брат «Зеня» по-богатырски своротил еловую гнилушку на краю житного поля, а под ней мы, обмерев, увидели сверкающее кольцо змеи, обеспокоенно зашевелившейся. Всю жизнь потом с осторожностью осматривал похожие пни, прежде чем на какой-нибудь сесть.)

Как и положено между братьями с некоторой разницей в годах, мы озабоченно делили сферы влияния в семье. Я долго и прочно удерживал плацдарм в постели родителей – право младшего спать между ними. Брату только и оставалось – торжествовать, что ему одному целиком доставалась детская постель. Устроившись меж отцом и матерью, я, перед тем как уснуть, захватывал мамину руку, прижимая, обнимая ее теплый молочный запах. А ей, бедной, ни повернуться, ни расслабиться. Отец на место ее руки тихонько просовывал в мои объятия свою. Подержав какое-то время подмену, я обязательно просыпался и протестовал со слезами:

– А, большая рука! Не мамина!

Зигмунд Фрейд сказал бы, что я ревновал к матери не столько брата, сколько отца. «Немцу» виднее, он обезьяну выдумал!

Брат отыгрывался на другом: по вечерам незаметно забирался на печку и сидел там тихонько, пока я возился внизу, за столом, и тут обнаруживалось, как меня бессовестно обманули.

И вот они все трое внизу, в постелях, темно в доме, а я залез на печку и отсиживаю недосиженное.

– Сынок, – ласковый голос отца, как бы ничего не понимающего, – что ты там делаешь? Иди ложись спать.

Что я, как будто не знают!

– Это еще что такое? – мама уже сердится. – Что за фантазии? Сейчас же иди спать.

– А-а-а! – доносится к ним с печки. – Зеня больше сидел!

А вот сейчас, не Зены, мое торжество, победа: я летаю, пусть даже с горшком. Слегка (совсем не больно!) отшлепанного с холодной, сполоснутой на ходу попой, меня водворяют на место рядом с братом.

– Бессовестный! – стыдит мама.

А брат демонстративно отодвигается, показывая, что не хочет и лежать рядом с вонючкой.

* * *

На свет лампы, как летом белые мотыльки, появлялся иногда в нашей квартире седоусый сосед – хозяин Потоцкий. С виноватой улыбкой присаживался в сторонке, всегда отказывался, если приглашали за стол, поужинать. Нет, он пришел поговорить. А точнее – говорить. Сидел и рассказывал, рассказывал. Как бы одна бесконечная история. Будто шум дождя слушаешь – ровный голос человека, который столько помнит, знает.

У Потоцких было несколько сыновей, дочка; может, оттого, что они старше нас с братом были, о них моя ранняя память ничего не сохранила. Ну просто ничего, зато сам Потоцкий, его эти вечерние посещения и мой поход на хозяйскую половину дома запомнились. Еще бы. Это закончилось скандалом, громким во дворе криком «пани Потоцкой»: «А хоть бы вы подошли, мои вы дороженькие! Сморкачи паскудные!»

Повел меня и брата Зеню к себе Потоцкий, когда ни нашей мамы, ни хозяйки дома не было, может, в магазин или на базар, но куда-то они отлучились. Сначала в просторной кладовой одарил нас красивыми, но очень твердыми грушами, затем мы прошли через кухню в «залу». Единая житейская цепь моих открытий-удивлений перед какой-то давно бывшей, ушедшей, «музейной» жизнью, если называть дворец графа Паскевича в не разбитом еще войной Гомеле, затем ленинградский Эрмитаж в студенческие годы, – началась все-таки с «залы» Потоцких в заводском поселке Глуша Бобруйского района. Поразил пол: было страшновато на него вступить, как на стекло. Ярко выкрашенный в желтый цвет. Огромный, до потолка черный шкаф, а по дверцам и по кату его – вырезные венки из груш, яблок, слив, черных, деревянных. На белых стенах (таких свежих, что слюна во рту взбухла) висели, как я понимаю, дешевые литографии, но тогда показавшиеся нездешним богатством: на каждой картине – цветная сценка охоты. И убитые объявшие зайцы, и окровавленные огромные птицы, и тонкобрюхие выгнутые, как лук, охотничьи собаки, сами охотники с ружьями, белоусые, очень похожие на Потоцкого – словно из историй, рассказов хозяина дома. Какая-то неведомая – до нас – жизнь.

Но как я мог не отдать должное и свежевыбеленным стенам «пани Потоцкой»? Преступников она вычислила моментально, и уже через два часа мама с ужасом слушала ее проклятия за окном (при этом доставалось и самому Потоцкому), брат на меня шипел («Никак ты не налижешься!»), а себя помню лишь через страх, что злая старуха сейчас отвяжет, спустит с цепи огромного рыжего пса, который всегда бегал и лаял вдоль протянутой от сарая к воротам проволоки, ноюще визжащей от кольца, которое тащилось по ней.

Думаю, мама снова упрашивала отца: поискать другую квартиру, просить казенную, только бы подальше от этого проклинающего ее детей крика.

В «Войне под крышами», когда я рассказывал о «Жигоцких», о старухе и ее сыне Казике, которые чуть было не сбросили семью «Корзунов» в подвалы немецкой службы безопасности, на муки и смерть, я все сказал.

Что «Война под крышами» – продолжение все той же гражданской, начатой в 17-м, эта догадка в самом названии романа закодирована. Но, конечно, не развернута. Как это мы делаем сегодня, обращаясь к тем событиям. И я уже в состоянии на происходившее посмотреть глазами и другой семьи, Потоцких-Жигоцких. Их сына, старшего (лейтенанта или даже выше по званию), забрали в 37-м. А прежде – разорили крепкое их хозяйство. Не сослали, а лишь

обкорнали их земли, о качестве, плодородии которых свидетельствовали мощные дубы, стеной чуть поодаль стоявшие (дерево это на бедных почвах не растет), не раскулачили их лишь потому, наверное, что жили не в деревне, а в рабочем поселке. (Не всех сразу.) И вот на самом «житием» конце их поля начали строить больницу. А врач этой новостроящейся больницы – их квартирант. Наверное, характер у старухи был скверный. Сам Потоцкий нет, нет, да и заговаривает, бывало, о жене своей с внезапной ненавистью и стыдом. Но смотрите, какой дьявольской смесью, кислотой поливали души людей. Жена врача, «покушающегося» на добро Потоцкой (наша мама), – сама из раскулаченной семьи, как тут удержаться старухе и не напомнить квартирантам-оккупантам про это? Радостным криком разглашала новость, когда долетела до Глуши, что семью докторши сослали: «Теперь и вы поскулите!»

В головах нашего населения царил дикий кавардак от всего происходившего. Я в войну не раз слышал, как заводские полицаи со страстью довоенных активистов поносили «кулаков», «куркулей» деревенских. Где, как не в подвалах НКВД, проходили репетиции, брались уроки того, что творили потом «наши люди» уже в подвалах немецких «служб безопасности», СД и гестапо? Ну, а искать, находить и сигнализировать о «врагах» (сегодня – контрреволюционерах, «кулаках», завтра – коммунистах, евреях, партизанах) – это прямо-таки вколачивалось в людей. Столько лет...

* * *

Передо мной фотография, на которой вся наша, тогда такая молодая, семья – 1928 или 1929 год. Переснята эта фотография со старой подпорченной, которую мама носила в узелке на шее почти год (когда каратели загнали наш отряд в самые гиблые болота), зная про меня и Женю лишь то, что ей рассказали спасшиеся партизаны: что ее сынов немецкий танк вот так (и ногой по скрипящему снегу!) заутюжил в окопе...

Я в серой курточке с пояском стою на скамейке, прислонив (неженка) голову к отцовской, справа за спиной мама, а отец и брат Зеня (в бархатной темной курточке, в руке мамин кошелек) сидят на той скамейке.

Таких коротких волос у матери, сколько ее помню, не было никогда. Но, может быть, это после болезни от испорченного свиного мяса (трихиниллез), которую, как она вспоминала, лечили тогда спиртом, водкой, буквально спаивая больного? Свободный воротник, видно, что шелковисто-мягкого платья, лицо привычно строгое, озабоченное (если это 1929 или 30-й год – тем более понятно, чем озабоченное) и красивое. (Как-то уже в Минске, после маминей смерти, позвонила мне женщина, когда-то жившая в Глуше, и вдруг рассказала, как они, школьницы, во время больших перемен бегали в аптеку будто бы купить «сен-сену» (вместо конфет), а на самом деле: «посмотреть на красивую жену доктора».)

Где мы жили, когда нас снимал слуцкий, очевидно, фотограф (другие фотографии, более ранние, надписаны, имеют пометку: «Слуцк»)? Видно, это еще до Глуши. Учась на врача, отец летом подрабатывал в Конюховском доме отдыха, это там же, на Слутчине, где и родные деревни: Рачень – отца, Заболотье – мамы. Самое таинственное, легендарное место в моей биографии – эти самые Конюхи, в них я родился. Там был даже медведь, цепью привязанный к яблоне, отдыхающие пограничники его угощали, мы с братом тоже (сам не помню, рассказывают) – морковкой. «Миска, Миска...» Мишка не пожелал быть вегетарианцем, однажды сорвался с цепи и задрал корову. Его застрелили.

Я ничего из Конюховской жизни не помню. А интересно: тот, стоящий на скамейке в курточке с пояском – он помнит «Миску»? И то, как кормил его морковкой. С какого момента мы напрочь забываем то, что видим, что остро переживаем, смеясь и плача в таком вот возрасте? Разве тогда мы не помнили? Что было вчера, позавчера – помнили ведь. И вдруг – как отрезает,

отрубает! Что-то остается в нас, но запечатанное, в каких-то сотах. Что-то наглухо, а что-то удаётся расковырять, вдруг просачивается запах, липкость меда раннедетских впечатлений...

Возможны, впрочем, и более смелые предположения. На сценарных курсах со мной в Москве учился Эрлом Ахвледиани, удивительный сказочник-философ. Когда я побывал в его тбилисском «родовом доме», обнаружил, что сам быт его, сам дом отца-деда такой же талантливый, иначе и не назовешь. Потолки отфактуренные временем, ни мел, ни обои не употреблялись тут последние лет сто, у каждой стены, деревянной или каменной, своя семейная легенда. Совершенно случайно в «русскоязычном» грузинском журнале прочел его рассказ «Агу», в котором кто-то рассказывает нам о своих родителях – детям по уму в представлении этого рассказчика. Сам-то он нашпигован знаниями о вселенной и человеке на уровне начитаннейшего естествоведа-ученого. Какой-то Эйнштейн-Фрейд плюс Достоевский в одном лице. Подсматривает с этой высоты за хлопочущими над своим первенцем отцом и матерью, умильно радующимся его забавным гримасам и тому, как он ножками сучит. И вдруг мы обнаруживаем: рассказчик-то и есть этот самый младенец, это он Эйнштейн-Фрейд-Достоевский!

Вдруг, на радость бурно возликовавшим родителям, произносит свое первое: «агу!» – и... И гаснет. Все, что знал, помнил, весь запас опыта человечества, спрессованный в младенце, куда-то испаряется. «Агу!» – и вот уже все начинается с нуля. А все, только что бывшее – где теперь, куда спряталось?..

* * *

Начал я с подробного записывания того, что сохранила раннедетская память незапечатанным в тех таинственных сотах. Но попробуй сохранить строгий отбор: своего и рассказанного тебе позже другими, теми, кто был рядом. Чем глубже рука погружает в воду детский мячик, тем сильнее сопротивление и его стремление вырваться наверх – помню, как меня это поражало, мячик будто оживал в твоих пальцах. Вот так оживают, сливаясь со стихией собственной памяти, чужие воспоминания.

Но никто ведь из взрослых не мог мне рассказать про то, как выглядел мир нашей квартиры, забавный мир ног, подсмотренных движений, когда следишь за ними из-под стола, а еще лучше – из-под низенькой «каналы». И как таинственно перекрещиваются деревянные планки этих предметов и бугрятся подтеки клея на них – снизу. И вот этот вечер – только мой. Именно страшным первым одиночеством, покинутостью всеми я был внезапно напуган, начал плакать.

Не знаю уже, где все были, но лампа не зажжена, в комнате полумрак, я смотрю в окно, в сторону шоссе, а там идут, идут, едут на лошадях солдаты... с белыми пиками. В том-то и дело, что Красная Армия тогда все еще гордилась буденовскими пиками, деревянными палками с металлическими наконечниками. Потом мы не раз бегали к шоссе смотреть на красную кавалерию. Но вот эти, в полутьмедвигающиеся с белыми палками по шоссе, по «варшавке», по которой потом прикатила в Глушу война, от них в памяти остались слезы тревоги и покинутости...

О нашем детском прошлом нам любила рассказывать «тетя Витковская», мамина подруга, намного старшая ее годами, которая нас с братом одно время «смотрела», пока мама училась на фармацевта в Могилеве. Невысокого росточка, просто маленькая, я ее спрашивал:

– Тетя, вы уже вниз растете, назад?

Умела с нами разговаривать на языке нашего возраста.

– Ой, Сашенька, мне что-то живот заболел!

Живот? Это мы сейчас! (Не был бы ты сыном доктора.) Укладывал «больную» на канapé и, как нынешние экстрасенсы, начинал водить руками. Но у меня было еще и врачебное заклинание:

– По соломе, по мякине, хай болить ды пакины!

Женщина хутенько (быстро) вскакивала:

– Ой, спасибо, доктор, уже перестал болеть, полегчало.

Какой врач или сегодняшний экстрасенс не зардеется радостной, гордой улыбкой от такого моментального результата?

А вот мой собственный заболевший живот настоящий врач, мой отец, излечивал другим способом. Говорили, что, когда возвращались домой из клуба, я вдруг садился на шоссе и заявлял: мне болит животик. А что надо, чтобы перестал? Надо меня взять на руки, нести.

И еще – детские горькие слезы, испуг и обида. На меня натянули розовое платье девочки, поставили на стул и безжалостно радуются (даже мама): какая девочка! А уж сколько торжества на физиономии брата – как тут не реветь!

Мама потом объяснила: просто в магазине ничего на мальчиков не было, купили девичье, чтобы перешить, переделать на рубашечку.

Непрерывность детской памяти из своих и чужих кусков и кусочков мы восстанавливаем, я почти убедился, по «законам» литературного творчества. Лаборатория, механизм тот же. Начиная обдумывать новую повесть, вначале имеешь очень и очень мало. Несколько зернышек или даже одно только. Вроде той, услышанной десять лет назад истории молодого немца и белорусской девочки, которые спасали друг друга. Всего лишь факт: было такое. Фантазия стала оживлять, наращивать подробности. Тут уже я им отдавал свою «память», но сегодня мог бы клясться-божиться, что бежал рядом с ними, что так оно и было, как нафантазировал в «Немом». Свое диффузировало в чужое, и наоборот. Уже сам не смогу одно от другого отделить...

* * *

Наше с братом соперничество за сферы влияния, статус в семье незаметно как-то завершилось моей победой-поражением. Полным. «Зеня» по-братски уступил мне все – и маму, и папу, их ласки, варенье, – зато приобрел, забрал себе уважение и положение почти взрослого, где-то рядом с отцом и матерью. По отношению ко мне. Я вдруг обнаружил, что один тяну лямку «ребенка» в семье. И даже то, что я вдруг стал осознавать, обнаружил, как старший брат меня, малечу, любит и жалеет, радости не доставляло. Наоборот, хотелось подражаться, я и задирался без конца, пока у «Зени» (я уже умел, но почему-то долго стыдился произносить: «Женя») глаза стекленели (закипает! закипает!), он в последний раз предупреждал: «Сейчас завопишь: “мама!”». Но я упрямо доводил дело до рукоприкладства и действительно лицемерно взывал к вмешательству старших, к возмущению, пусть даже нами обоими, защитницы-мамы.

Сразу повзрослевший мой брат как отказался от сладкого в пользу младшего братца, так потом и не ел, не любил ни варенья, ни конфет. (А когда-то мы горстями запихивали в рот оставленный на столе красный сахар – был такой, наверное, сырец из свеклы.) Будущий врач, он все мои детские болезни одним чохом-диагнозом объединял:

– А это он хочет, чтобы мама дала варенья.

В семье среди других, только нам понятных выражений было такое: «Не хочешь блинчиков с вареньем?» То есть лупцовки. А возникло оно так. Мы уже перебрались в казенную, нашу первую заводскую квартиру – в длинном доме рядом с базаром. Какая-то женщина увидела, как «докторов сын» поставил ногу поперек глубокой песчаной колеи и дожидается надвигающегося на него крестьянского обоза. Что за эксперимент я хотел поставить, до сих пор понять не могу. Женщина оттащила меня, отругала, вскоре я и думать про это забыл, заигравшись в толчее базарных возов с визжащими кабанами, напуганно-сонными курами, грушами, ягодой. И вдруг слышу ласковый такой мамин голос за нашим частоколом:

– Саша, ты где? Иди, я тебе блинчиков с вареньем дам!

И дала. Редко бывало, но уж если рассердится по-настоящему, свету не будешь рад. Нет, не руками – больше словами достанет.

Первые свои поездки, железную дорогу – видимо, в отцовскую Рачень (в мамину деревню на моей памяти не ездили ни разу) – запомнил через запахи: вареных яиц и мочи (аж глаза щиплет) в туалете. Сама дорога не запечатлелась – как удовольствие. Возможно, потому, что рядом все время ощущал раздраженное беспокойство матери. Не так сел, не то делаешь! «Ты это что!» – резко, чуть не сдернула за руку. Действительно, собрался сесть, как на свой домашний горшок, на грязную, со следами чужих ног, доску в вагонном туалете.

Теперь-то понимаю: в нашей матери постоянно жило ожидание катастрофы, какой-то угрозы всем нам. Выражалось это прежде всего в желании одернуть, остановить своих детей – таких неразумных, неоглячивых. Потому-то улыбка ее, которую так любил, с какого-то времени чужим доставалась чаще, чем нам с братом.

Запомнилось окутанное паром колесо сердитого паровоза, наполовину красное, люди с горячей паклей в руках – все такое огромное в сравнении со мной.

А за этим: деревенский простор, теплое болотце сразу за огородом, крытая соломой отцовская (бабки и деда) хата с удивительным земляным полом, прохладным, по случаю гостей посыпанным желтым песочком. И огромная, желтая от плодов груша под окном, сколько потом перепробовал груш, невольно искал в них полузабытый запах, вкус. И не находил. Возможно, и не груш, а детства был это запах.

* * *

В «Войне под крышами» я с особенным удовольствием писал про нашу забавно гонимую бабуку, считавшую, что она, католичка, и с двенадцатью детьми для деда Тодора была завидной невестой. Папин отчим добродушно интересовался:

– Как же это, мати, ты так промахнулась? За меня, мужика, пошла замуж.

– Бо молодая, дурная была!

«Гонор» бабуки-католички в свое время поломал женскую судьбу ее дочки Зони. Неустроенная старая дева не раз попрекала постаревшую бабуку за свою безрадостную судьбу. И с мамой нашей так и не наладились душевные отношения: стояла между ними какая-то неизвестная нам история. Похоже, что не хотела невестки-«мужички» хозяйка, господня «фольварка» с соломенной крышей и земляным полом. Против ее желания, воли поженились отец наш с мамой. Когда старики переехали жить в Глушу к сыну, все эти истории выглядели смешными нелепостями, особенно в пересказах папиного отчима. Но вдруг вспыхивала ссора у пылающего чрева печки, и какое нехорошее лицо делалось у мамы, какой незнакомый голос – Женя, ойкнув, как от боли, выскакивал за дверь. Не выносил он этого. А я? Я всегда был на стороне мамы. Но она, как я понимаю, больше ценила не мою безоговорочную солидарность, а несогласие всегда справедливого старшего сына. Быстро собиралась и уходила в свою аптеку, как бы устыдившись происшедшего. А бабука еще долго шевелила высохшими, сморщенными губами, произнося не слышимые нами слова. Когда-то, в свое время, наверное, их она тоже громко выкрикивала – в лицо молодой невестке.

Нет, но бабука, бабука! Из-за ее «панского» гонора, что, нас бы и на свете не было? И еще я узнал, уже когда и мамы не стало – от дядьки Антона, что я вообще захотел появиться слишком рано. Брату только еще годик исполнился с небольшим, и тут, пожалуйста, еще один ребенок просится в семью! Что это был я, конечно, ни мама, ни отец не знали. Какой-то эмбриончик, и все. А у мамы и для первенца молока своего не хватало. (Потому я и вырос «искусственным».) Но я и не претендовал на ваше молоко. Возмутительно! Прав Иисус, нет у человека больших врагов, если ими окажутся его ближние. Вот так решат за тебя – не перерешишь.

Знающие толк в подсчетах ген и хромосом мировые генетики все уже сказали и о моем случае. Если бы у моих (и ваших) отца и матери родилось детишек 300 000 миллиардов штук (даже не знаешь, как это произнести), только тогда была бы какая-то, нет, не гарантия, а надежда на еще один шанс. Это сколько же солнц сгорело бы над головой у вытолкнутого из своей законной очереди? Думаете, случайно на той фотографии, где мы впервые вчетвером, у мальчика в серой курточке с пояском такое обиженное лицо: и это вы меня, такого вот, не хотели?!

А есть фотографии и вообще нахальные, если всмотреться и вдуматься. Это – изображения наших родителей; когда нас еще не было с ними. Но что главное: они этого не знают, не осознают. Если помните, у Набокова: порожняя детская коляска, снятая любительской кинокамерой родителей, показалась человеку... гробом. Она стоит, а его еще нет. Не родился – это как умер. А вдруг некто за тебя перерешит: рано, мы еще не готовы обзавестись тобой! Вселенная миллиарды лет трудилась ради этого мига – зачать именно тебя, – а они, видите ли, не готовы! И миг проскользнул, как и не было. Никогда больше не повторится.

Будущая, а точнее – возможная наша мама со своим молодым мужем на фотографии: «19.III.23 г. г. Слуцк». Две толстые косы, по-деревенски свисающие спереди, четкий рисунок губ, носа, делающий лицо капризно-упрямым. Такая деревенская красавица вполне могла, не совладав с возмущением, плюнуть в лицо польскому «жовнежу», когда он по-солдатски грубо схватил ее за руку. Она это и сделала, наша возможная мама, а потом сутки пряталась в жите, а ее искали разъяренные поляки. Ну, а нашли бы? Дядька Антон считает, что плетями дело не обошлось, не кончилось бы.

Нет, старые фотографии – это не просто бумага, с отпечатанным на ней светом и тенью, отбрасываемыми человеком, людьми. Не только мы смотрим на отошедших, но они с пожухлых картонок – на нас.

Что это так – они зрячие, фотографии, – я ощутил физически в тот момент, когда ждал: вот-вот меня найдут немцы, настигнет автоматная очередь, буду лежать у их ног, грязный от собственной крови, а они из моего кармана извлекут мамину фотографию, и она у в и д и т... Я спешил не заползти подальше, поглубже в кусты, а успеть, пока они не появились, запрятать, зарыть в песок кошелек с фотографией. Чтобы мама не увидела ничего этого...

Перед войной

В Заболотье, на родину мамы, в деревню, где родился Женя, мы не ездили. Ни разу – после того, как семью Митрофана Тычины (мамина девичья фамилия) раскулачили. Выслали в Сибирь, вместе со стариками, моего тезку Александра, Зину, Любу. А двух сестер – как из огня выхватили – забрали к себе дядька Антон и наша мама. Мама вырастила с нами за компанию Соню (и замуж выдала), дядька Антон увез в самую-самую глубинку Белоруссии Олю (и тоже потом «отдал замуж»). Напоминать о себе в Заболотье лишний раз не стоило, я так понимаю.

Большие власти, конечно, знали, что жена глушанского врача каждый месяц отправляла «на Алдан» посылки: сало, лук, чеснок, крупы. Это же делал и дядька Антон – из своей, тогда совсем глухой Хотимщины, куда его, можно сказать, тоже сослали, после того как учитель Тычина Антон Митрофанович отказался «порвать» с родителями – кулаками. До нас тоже добирались: перед войной отцу «советовали» развестись с «кулачкой», заботливо-угрожающе настаивали. Непосредственная опасность виделась там, в заболотских «активистах», которые, как и в других многих местах, не постеснялись забрать и детские валеночки, и «лишнее» одеяльце – разуть, раздеть изгоняемых. Так что на многие годы между сосланными и оставшимися при колхозных должностях (а то и без оных) «активистами» сохранялась невидимая связь, слежение, ревниво-злорадное: кому в конечном счете хуже?

Разумеется, тем, кого заморозили, голодом уморили в далекой ссылке, было заведомо хуже. Но случалось, что ограбленные и разоренные или хотя бы кто-то из таких семей оказались в положении уж во всяком случае получше колхозного. Ревниво следили друг за другом издали. А писать людей научили. Так что от греха подальше. Я помню, как далекие наши родственники из когда-то богатого Засмужая, по-колхозному обедневшего к тому времени, появляясь у нас в доме, старались разбудить в нашей матери старую обиду на земляков. Но, по моему, это не получалось. Или мама так умела владеть собой? Кроме того – кому завидовать? Тем, кто остался в колхозе? Не дай бог, прослышат, что брат Александр приезжал (это перед войной было) с чемоданом, полным подарков, – шерстяных отрезов, кожаных подметок навез, о которых тут уже давно забыли.

Посчастливилось и в Сибири Тычинам: не выбросили в тайгу на снег, не уморили на лесоповале, завезли аж на Алданские золотые прииски. Не понятно как, но выжили, а подрост Александр и стал работать «на золоте». И все это потом покупать на чудо-деньги, какие-то «баны». Пока не забрали на фронт, долго лежал в госпитале в Алма-Ате, а вернулся в Белоруссию (дядька Александр с кучей детей собственных и веселой, всем полюбившейся сибирячкой Катей), вдруг сделался таким же удачливым, «природным» полеводом в совхозе, каким и золотоискателем был, но это потом, после...

Мне, когда я депутатом был, приходили письма от детей и внуков раскулаченных и тех, кто сам был «кулаком-поселенцем» в пяти – семилетнем возрасте. Описав все мытарства, перечислив умерших от барачной жизни братиков и сестреночек, почти обязательно протестующе сообщали, что у них хозяйство было если не вовсе бедняцкое, то середняцкое, столько-то коров, лошадей, овец, построек. Мол, несправедливо раскулачили, уморили голодом, каторгой. Тем самым как бы соглашались, что тех, у кого было больше перечисленного, тех можно было, а вот нас – не по закону. И требовали реабилитации, восстановления справедливости для себя, своих, у кого на корову, на овцу было меньше.

Боюсь и сам продемонстрировать вот такое перевернутое мышление и потому не стану разузнавать специально, уточнять, сколько же было десятин пашни, или леса, или болота у Митрофана Тычины: десять или пятьдесят? Знаю только, хотя в доме у нас об этом никогда не говорилось и только позже дядька Антон успел мне кое-что поведать, – работали в семье Тычины все, начиная с шестилетнего возраста (гуси, поросята были их заботой). Не

повезло старшей из детей, Ольге, почти не училась даже в школе. Зато тех, кто помоложе (Аню, Антона), Митрофан Тычина отдал учиться в слуцкую гимназию, понимал, что такое образование. Но работали и гимназисты, приезжая домой, и даже старались больше остальных детей. Тоже понимали, на какую жертву пошла семья. Невольно вспоминаю услышанную недавно легенду про Богиню – основательницу трудолюбивой Дании. Ей сказано было: сколько за ночь вспашешь, столько и будет земли у твоего народа. Так она братьев и даже детей своих обратила в быков – народ датский ей и поныне благодарен...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.